

*19 апреля в Оренбурге на 73-м году жизни скончался большой русский писатель Пётр Николаевич Краснов. Редакция журнала “Наш современник” выражает соболезнование родственникам, коллегам и всем читателям, любившим и ценившим творчество Петра Николаевича. Сегодня мы хотели бы предложить для прочтения ранние новеллы Петра Краснова, написанные в 70-80-е годы, — драгоценные образцы его прозы.*

**ПЁТР КРАСНОВ**

## НЕ УХОДИ С ПОЛЯ

БУРЬЯН

На городской дальней окраине, среди вечного строительного и всякого хлама, каких-то столбов с изоляторами, но без проводов, промеж промасленных шпал, кирпичных в копоти заводских стен со странными, времён паровозов, надписями: “Не сифонь! Закрой поддувало!” — никогда не живёт тишина. Где-то поблизости учащённым пульсом бьёт время от времени, содрогает воздух механический молот, погуживают машины, вдалеке на путях гулко и неразборчиво вещает день и ночь эмпээсовский громкоговоритель: пробубнит — и минуту спустя дёрнутся, сдвинутся за Бог знает что ограждающим забором крыши товарняка и взлетит оттуда, словно стая железных птиц, перекатывающийся лязг и грохот сцепок и долго потом будет затихать в дальнем конце состава, над пустырями... Сентябрьский ветерок, освежённый первыми заморозками, покачивает свисающий с крыши барака ржавый лист жести, тот шершаво скребётся о горбыль стены, скрипит угло и заброшенно, одичало как-то. В стороне пакугазов над остовом водокачки чёрным пеплом опадают галки, их кликанья не слышно тут, но и они, наверное, что-то добавляют тоже к механическому угрюмоватому гулу окраины, рокоту её, ропоту замазученной этой, еле слышно гудящей, изредка вздрагивающей земли.

Ничего уже не рождает она здесь, кроме лопухов и жёсткого, ко всему привычного бурьяна. Столько его, что, кажется, дай волно — и через какой-то десяток лет всё тут схватится, заплывёт им. Очистится понемногу воздух от человеческих запахов, прорастут неведомо откуда взявшиеся деревца, руша корнями фундаменты одиноко стоящих оставшихся корпусов, подваливая стены, и природа начнёт возводить леса, поправлять свой некогда нарушенный обиход и черёд... Начнёт, за этим дело не станет.

И отчего-то странным казалось небо здесь, вставшее погожим нынешним днём над землёю, — совершенно безоблачное и пустое. Неугадываемой высотой, сплошной голубой вертикалью уходит оно ввысь, теряясь в себе, растворяя само себя, и нет ничего, что оказало, обозначило бы эту высоту, дало взгляду простор; глаза увязают в этой мягкой, без расстояний и опоры

голубизне, проваливаются, не достигая дна, и не знаешь, как быть. Ничего там нет, пустота и молчание. По сути, всё та же неизвестность, неизведанность, которую принято называть мраком, но только голубого беспечального, бессмертного цвета — врачующего, говорят, принимающего и примиряющего всё и вся...

И была, как-то особенно ощущалась временность всего тут, сооружённого на скорую руку, видимая недолговечность — может, от соседства неба этого, его молчания высокого, давнего?.. Жизнь будто хотела успеть, торопилась доделать что-то, важное и спешное, нужное позарез, — сделать и уйти.

Как он попал сюда, на эту окраину городской толкучей жизни, он и сам толком не мог бы сказать. Выбирался с завода, где по заданию начальника снимал данные с самописцев установленных там приборов, к троллейбусной линии, хотел, где покорооче, и все немногие встречные показывали ему одно и то же направление — вот сюда, тропкой между кирпичным забором с натянутой поверху проволокой и баракком неизвестного назначения, сбитого внахлёт из горбыля. В промежутке этом тянулись по ушедшим в грунт шпалам две рельсы, блестящие среди закапанного масло-отработкой бурьяна, и вдруг он увидел подальше в заборе ворота из листового железа, закрытые, под них и увидели с закруглением рельсы, а ещё дальше впереди примыкал к забору невысокий корпус, припорошённый цементной пылью, с ярко-рыжей от ржавчины металлической трубой. Баракком своим торцом вплотную упирался в этот корпус, ходу не было, тупик. Где-то совсем недалеко, слышал он поверх всего, прокатил, завывая, чиркая токосъёмниками по проводам, троллейбус, до фабричной улицы было рукой подать.

Он остановился, огляделся кругом в досаде, назад идти было далеко. Под ноги глянул — тропка, хоть и малая совсем, в ширину стопы, вела суетливо куда-то вперёд, идти ещё можно было, но куда? И увидел тут же, что забор будто немного заходит за корпус, что-то вроде щели там, и туда-то, похоже, и ныряет тропа, никак не заботясь о пешеходах.

Ну вот, теперь почти дома, вздохнул он, провозжая досаду, успокоенный вроде, что люди везде, даже на этой сотворённой ими же самими бросовой земле тоже хозяева и всюду имеют свои дорожки. Не эту, так другую бы нашёл, их здесь, должно быть, много. Тропок много, а место неудобное, никак не обжитое; какого-то, он понять не мог, завершения не хватало здесь, не было.

Оно во всё являлось тут, странное, но в чём именно, сразу не скажешь. И предосенний тонкий, ещё с душным запахом пыли, воздух, не растворявший в себе самых дальних очертаний, и постройки, сооружённые так, что уже снова кажутся старыми, а рядом буйные, космические совсем какие-то бурьяны во весь рост, и это над ними небо нынешнее всё новые приобретало черты и состояния, неясные, неявные, одно только ощущение опасности некой, отдалённой. Была даже не угроза, нет, хотя слово это для себя он уже назвал. Было молчание. Давнее, от веку — его-то, может, и боялась больше всего душа во все времена.

Он сел на большой, вросший своей тяжестью в грунт обломок бетонного блока с железной куделей толстой арматурной проволоки на сломе, в который раз осмотрелся. Все так же потягивал ровно и отпускал ветерок, солнце грело в затишке, придавленная бетоном, вздыхала и вздрагивала земля. Вдруг, еле слышимое за этим, загудело что-то. Потом гудение напряглось, заньло, из ржавой той трубы порхнул один, затем другой копотный дымок, и повалил клубами чёрный, как смертный грех, дым... Верховой ветер вытянул его в космы, разделил, пригнул к земле, запахло повсюду нефтяным приторным чадом, от крупных частиц копоти потускнел воздух. Дым пересёк нежаркое и ясное, безмятежное солнце, на миг затмил его до ослепительного ободка — и оно пошло мелькать, метаться, неверным светом озаряя, стараясь вырваться будто из него...

Нет, угроза была тоже, хотя отдалённая. Но не в том только дело, что грязно и безалаберно живём, это ещё можно поправить. Или не поправить, привыкнем, суть не в том. Все уже насмотрелись на эту почти потерявшую, как им кажется, смысл деторождения землю, хотя ей всё равно, что рожать — леса или бурьян; накричались до хрипоты, до безразличия. Опасны

не жалобы и стоны развороченной земли, опасно молчание — неба этого, времён пролетевших и видевших всё, развалин. Всегда оно, молчание, значило больше слова, а здесь заставляло опасаться себя особенно. Почему-то именно тут, где она творится всюю, а не залегла в спячке, во сне существования, жизнь казалась тоньше всего — именно здесь.

Как-то он летел большим рейсовым самолётом и почти всю дорогу, не переставая, смотрел в иллюминатор, вниз, в синеватую парную пропасть воздуха под собою. Сначала там, на дне, медленно и словно сопротивляясь реактивной скорости самолёта, проплывали, не кончаясь, плоские и серые, шершавые на вид леса с полянами и просеками; потом в них всё больше стало появляться желтоватых проплешин, неправильных контуров полей. Оловянным прибоем проблескивали речки и пруды, россыпью пошли человеческие селения и далеко по их окраинам — вот эта фабричная и всякая земля, свалки, карьеры, дико разъезженные какие-то дороги... Но дело опять же было не в том. С девяти тысяч метров всё, сделанное человеком, кроме этих полей, виделось малым и слабым; да и сами поля, казалось, одним только цветом отличались от нетронутой плугом земли, был на ней возделан тончайший только, прозрачный почти слой, плёночка, выпаханная так, что сквозь неё уже и материнская порода проступала своей рыжиной, а вся остальная толща была или чудилась не востребованной человеком, ненужной ему и недоступной.

Его поразила тогда — он летел впервые — не столько, может, малость человека, сколько слитная эта, косная толща живого, равнодушного и, значит, враждебного ему навсегда. Он вдруг увидел, что всё, что люди привыкли именовать разумом, гордиться им и уповать на него, — всё это лишь тончайшая плёночка, со стороны почти незримая, лоскутками-колониями покрывающая поверхность большой, сверху мирной земли, а остальное либо раскалённое, либо остывшее до немоты, одинаково опасное для скудельной этой, слабой, но упорной в своём желании выжить, выкарабкаться жизни... Победно звенели, пели на посадке турбины, преодолев мизер, фикцию пространства всего лишь, а ему гордо было и жаль этой жизни, с такими тратами продолжающей себя, воюющей изо всех своих сил; ничего в нём не осталось от тех минут, кроме гордости и жалости, и ещё будто страха — неопределённого, вовсе, может, несбыточного до поры до времени, но имеющего всё же быть.

Он узялся и тут, и был, наверно, всегда в человеке, с младенческих ещё времён жил и никак не подчинялся ему — страх дерзости, да. Дерзость пересиливала, но страх оставался, остался. Он подумал, что живёт, по сути, в самом трудном из всех бывших, шатком в своих крайностях времени, от которого зависит, быть или не быть всему, и каким быть. Впрочем, своё время ещё никому не казалось проще, определённое других, каждое наваливает свою тяжесть, человеку по-прежнему нелегко жить и куда трудней выжить вообще. Все эти инстинкты самосохранения отступают, уступают разуму и воле, и соединит ли кто всё это в одну — добрую — волю? Никто этого не скажет. Живи как жил, делай своё дело, вот и всё, инстинкт жизни вывезет. А нет — значит, так должно быть, так всё устроено.

Бурьян заполонил всё, что мог, что было сейчас в его силах. Спутанные, сцепленные заросли плотно прикрывали собой усталую землю, а у самого барака сцепились ещё гуще, выше, там клубился уже матёрый, подваливший на одну стену иззелена-бурый прибой, молчаливый и упорный.

Он потянулся, вырвал с усилием один из кустов и тут же пожалел: зачем?.. Пусть бы рос, где ему назначено. Стебель был жилистым, уже одревеневшим к осени, красноватые мелкие листочки и ветки его тоже огрубели, приготовились к предстоящим непогодам, частью поосыпались и рассеялись по ветру семена. Ничего в нём нет особенного, в бурьяне. Он знать не знает, что делает, лишь неосознанно растёт, где семечко упало, ни в жизни, ни в смерти своей не волен. Может, как раз в этом он и бес смертен — в том, что не избегает общей судьбы.

Совсем обычное растение, слабое и смертное, и чем слабее, тем лучше. Чтобы выжить, надо быть слабым — так ему, кажется, говорил один институтский приятель, из неглупых. Ничего, мол, особенного, простой

обывательский закон: мамонты вымирают, а мыши остаются. Что ж, мы слишком сильные и своенравны, чтоб выжить? Этот же приятель говорил потом, что человечество — непотопляемое судно, четыре миллиарда отсеков надежд... Где-то, должно быть, вычитал. Всё слова, одни только слова, которым ничего не дано сказать или поправить; а есть человек и есть бурьян, и чуть где не так, там он уже сверху, уже плодится вовсю, стеною стоит-качается, сторожа прошлое, ставшее молчанием, то, чего уже нет и не будет, — а может, порой кажется, и не было никогда...

Ну, а без окраины кто они и что, какая сердцевина? Он поднялся, постоял, посмотрел ещё. Ветерок тянул уже ровно и охотно, с осенней северной стороны, подхватывая клубами вываливающийся из трубы дым, протягивал и нёс его косо и вверх, оставив приветное по-прежнему и покойное солнце в стороне. Дымный след успел протянуться далеко, над пакугазами и дальше: редел, расходился, грязня голубизну и сам, наконец, растворяясь в ней, — и его принимало небо. Из-за поворота на тропинке показались несколько человек, шли гуськом, разговаривали и чему-то смеялись — окончилась очередная смена. И он тоже пошёл туда, куда нырля дорожка, прислушиваясь и тщетно пытаясь понять, о чём они разговаривают и чему смеются.

1978

## НОЧЬ МИЛОСЕРДИЯ

Мать спала — одна, на старой, её костистым тяжёлым телом продавленной кровати, в избёнке на глинистом разъезженном косогоре, под которым мутной от долгих дождей и ледяной водой текла речушка Мельник. Спала тяжёлым от дневных трудов, старчески беспокойным уже, настороженным от недоверия к жизни сном; забывшись, всхрапывала иногда и замолкала тотчас, будто вслушиваясь, не пропустила ли чего, не сдвинула ли тем ненадёжного равновесия ночи, душной избяной тишины её, пересыпаемой невнятной, иногда сторожкой дробью дождя в стёкла, тревожимой глухими вздохами ветра за стеной. Осенняя ночь всё облегла, пути перекрыла, сиротские в себе приоттила поля, обобранные перелески, к самым окнам человеческих жилищ подступив и приникнув мокрыми бездонными глазами, — своим забвеньем милосердным наделяющая каждого в меру усталости его, в меру дневной суровости бытия, его холодно испытующих, невыразимо блеклых порою и твоего вовек не разумеющих глаз.

Что снилось ей? Картошка, наспех спущенная в погреб, порядком так до се и не перебранная? С полузабытым, верней — с недвижимым, какие на давних карточках бывают, лицом сын первый, лихолеток, совсем спешивший с кругу, как пошёл опять походом в кабак, с цепи спущенный? Десяток уже с лишним лет птиц Божьих кормит она в Троицыну субботу, и подавня на помин души не подай, нельзя, сам решил себя, хорошо хоть строгостей прежних нет — на могилках похоронен, в ограде... Муж, из плена да через Сибирь, с застуженным насквозь нутром, недолго протянул после войны, сгас, — он, незапамятный, привиделся? Или, может, снился запруженный подводами майдан перед церковью, которой уже следа нет, и лавкой — он, магазин, и ныне там, — и как бабы в голос кричали перед железным ликом назначенной им кем-то судьбы, как мужиков даже корёжила слеза, а им, детишкам, всё вроде ничего, страшно только, и как сельсоветский писарь считал их, из кучёшки перегоняя в кучёшку, как скотину, и потом дорога та, так и не доставившая всех до места в целости, холодные стогны чужих селений, немилые сердцу, ему большие пространства те ветреные, давние... Много чего снится могло, ей не прикажешь, выпущенной протоптаться, в свободу забытья отпущенной ненадолго своей душе, где и что навестить там, в своём, к какому приклониться холмику — много их, так много, что и не хватает её, порою кажется, души.

На всё не хватает, да так он с нехваткой души и живёт, человек, уж очень длинна у него, велика жизнь, высока — по ноздри; только, может,

и осталось, что на второго сына, последнего, да ещё на внучку, которую всего-то разок видала, больше не позволили, — его видит душа? Один теперь там, в городе, разведённый, неухоженный, в последний раз приехал — смутный, как посоловельный весь, и с лица спал, позовёшь — не слышит. Не испортился бы. С подружкой приехал, знакомил: разведёнка тож, сын был, мать жива... ну, теперь что ни приведи — всё ко двору, до кучи. А не худая, тело есть, ручки хоть небольшие, а сноровко стирает. Самостоятельная, и его, поглядеть, уважает — пусть... Его ищет душа и что-то не находит в потёмках застарелых болей, позабытых лиц и — Господи, прости, — векового всё ж непониманья, кто это с нами творит такое, зачем и, главное дело, за что...

И дочка спала, для старухи где-то затерянная в городе огромном, смутном, внучка, два-то годика всего, — спала, ещё только пробуждающаяся от сладких снов младенчества, где и обиды-то ещё не распутались с радостями, неделимо пока на них существование, и где явное в ней чуть не вслух тайной ангельской бредит, миру выговорить её пытается, который не слышит. Розового прижала к себе зайца, нежным жаром тельца холод жизни вокруг себя растопив, запахом родным размячив, и на щечке её заспанной больше запечатлено, может, чем во всех тобой прочитанных человеческих книгах, в знаниях, никого не спасающих, спасительного не дающих утоленья, искупления неполной твоей душе; и в детские сны её, осенённые всеми в свете чудесами, приходят деревья и дома, небо входит, вмещается всё оно, и огромная добрая собака соседская опять лижет ей, замирающей от счастливого страха, шершавым своим языком ладошку... Неужто ж есть оно, счастье? Оно что, дурацкий этот розовый заяц, дитя отечественного ширпотреба, зайка, которого любишь и ты, отец, потому что любит его она?

Они спят, и глядит на них, наглядеться не может ночь; и чем пристальней вглядывается в них милосердная она, изъяны мира покрывающая и раны его зализывающая шершавым шуршаньем дождя, тем глубже они забываются, дальше забредают отсюда их детские, как у всех, души, в предрассветную самую глушь, ближе к счастью невозможному, неведомому... Поди, душа, туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что, сызвеку так. И уж старой сиделкой сама задрёмывает у изголовья, грезит невозможным ночью, сама в себе забылась под старенькие ходики, утолила всё, и уж гирька до полу, время к исходу, к изъятию, свою допрядывает последнюю, беспамятную уже нить, узелком завязывает, стягивает, и страдания нет.

1981

## НОЧЬЮ ВЫПАЛ СНЕГ

Ночью выпал снег. Всему на свете равный и свой, он не имел имени в нём, не имел судьбы, он был просто белым на смёрзшейся земле, на тёмных будильях забытого лета, свободно и просторно белел везде, по окрестностям лёгший, нетяжёлый, и воздух над ним пасмурно-ясен был и тих, шаги скрадывал и мысли, будто придерживал где их при себе или дальше куда пересылал, и не здесь они отзывались, но где-то там, за проясневшими, уже по-зимнему чёрными перелесками окоёмными, за серостью пологой вместо неба, — отзывались, неслышные, не в одном бедном сердце человеческом, но во всём.

Ещё вчера тяжёлый и холодный стоял туман в полях, прощальный, не хотел уходить; и не всю листву, не все покровы ещё сорвало, с жалким шумом сгоняя, валежник ли набивая ею или прорехи пытаясь заткнуть мировые, хотя давно и далеко видна стала меж стволов и поредевшего подгона светлая опаль, овражки открывшая, пади, преющую глушь, и опустели такие заселённые было ярусы леса. И вот всё согласно было теперь стоять так, понурившись, полублетев, и ветшать до скончания дней — домом со скрипящими половицами, покинутым людьми и вещами, где обои оборванные, отставшие от плоти стен, пятна обнажились везде, мусор переезда, забытое

и брошенное; гулкость где, остылость и сквозняки порухи... Но потребность ухода, перемены, но мысль об этом уже была во всём, присутствовала и не скрывала теперь самоё себя — именно мысль, разумная, чуть усталая и своя, а не человеческая вовсе, не в человеке возникшая, но лишь возвращаемая им туда, откуда она к нему пришла.

И вот низкая тишина стала под вечер, всё ожиданьем своим связав; длилась, ждала и, синевшись, так и ушла в ночь, ничего не сказав. И уже к утру, великого терпения земли так и не истощив, наконец он пал, долгожданный, сошёл, ею встречаемый, — словно это тьма осенней ночи долгой сгустилась и, преобразовавшись неуловимо в ретортах высоты, в белейший выпала осадок. В некий осадок, в прожитое выпали все несовершенства вчерашнего дня, вся суета его, тяготы и обиды — в мысль, немного печальную, что всё проходит, но остаётся в нас. И будто с этой же мыслью, неоспоримой в своей простоте, заимком возвращена была миру на время и та изначальная, к дурным страстям человеческого разума непричастная предснежная чистота его...

Да, свобода была в нём и беспамятность, в снеге, безначальность, существовал он всегда, и ему равно где было выпадать, здесь ли, в ином ли каком мире, на обломки каких садиться катастроф... Чистота, да, но так ли уж невинно всё перед человеком? Так ли безгрешно всё перед обречённым на то, чтоб из тысячелетья в тысячелетье пробивать собою дорогу всему сущему, бессмертному, к какому-то там совершенству, которое ему самому, конечному, заказано вовек? На несправедливость эту роковую обречённому, покинутому?

И хоть оно бесполезно теперь считаться, да и с кем, едва ли не все твои дрязи с миром, человек, не более как распря с самим собой — с собою на-смерть враждуешь, не с кем другим, — но, враждою этой измаянному, не раз уж, верно, приходит подозрение к тебе, похожее на прозренье: уж не за твой ли счёт чистота эта, безмятежность? Не твоя ли безгрешность, отнятая некогда, благословляющей дланью снега легла опять на окрестность земную, продрогшую в туманах и тревогах осени, — отнятая или оставленная тогда и там, где с сумасбродной, но ведь и великой надеждой на божественное забилося впервые в тебе человеческое сердце? И ты отдал звериный покой свой и чистоту за это — или отняли? Отняли, отобрано было в незапамятный миг творения твоего, искрою неуследимой возникший на мировых часах, длящийся и поныне; и ты во всём узнаёшь это родное, отнятое, помнишь и любишь, беспамятно тоскуешь по нему... Но тут, где ты живёшь человеком, единожды делается всё, всерьёз и бесповоротно, и тоска твоя взыскующая и надежда не назад обращены, но в будущее; и вера, что утраченное надо искать только впереди, есть самое, может, человеческое из всего, что несёшь ты в себе этому беспощадному к тебе, прекрасному, под твою руку отданному теперь миру. И вот стоишь перед своим, утерянным, не в силах вымолвить слова, перед мыслью, эхом заблудившейся в отраженьях своих меж тобою и тем перелеском прозрачно-чёрным, дальним, и нет тебе избавления от самого себя, нет искупленья.

А снег — он что же... Он не имеет ни судьбы, ни имени себе, он — из твоей выпавший тоски по совершенству — есть совершенство самое и ничего более. Он, чья невинность в грешности твоей отражена, как в тёмной воде, и в ней лишь одной и видна, не укор тебе и даже не цель, как там ни любят людские неистовые идеалы примерять белоснежные одежды. Он просто снег, в который раз за осень навестивший землю и ещё не успевший растаять, предвестник таких редких, всего-то раз в жизни виденных тобою снегирей, серебряных зим и того, что неизвестно.

1982

## НЕ УХОДИ С ПОЛЯ

Поле ржи дозревало под перепелиный позывающий, всё примиряющий собою посвист, под бесплодные ночные погромыхивания, обвалы глухие, трепет и судороги небесного всевидящего огня, обнажавшего на мгновенья острым грифелем срисованный — не такой уж сложный, чудилось вдруг, —

костяк миростроения, балки и фермы его, сотрясаемые, содрогаемые грозой; под солнцем, космически яростным нынче, под небесами дозревало постаревшими, усталыми за долгодневное рабочее лето, и конца ему, полю, не виделось. У самых ног начало было, растительно-пресный, сухой, уже хлебный жар его в лицо, колосьев поклоны земле и жизни, шуршал через силу подальше, рябил в них полденный, зноем укороченный ветерок, брёл, истомлённый, и спал, и далее вздымал вдруг, летел стремительно, видимый уже по широкой тусклого серебра дуге туда, вглубь хлебного, в нехоженное — и рожь вздымалась волнами, валилась, бежала, торопилась тоже, и зыбкие тени, одна догоняя другую, стлались и шли, стлались и текли к пределу теней, к раствору их там — туда, в светлый, заслонивший горизонт и уже омертвельностью созревания обреченно тронутый житный простор.

Светла была обречённость, временна в поле жизни, колосащемся всегда, и отрадна чем-то, своим волнующимся покоем, что ли, спасительным незнанием конца ли, — словно всему тут обещано, уготовано было вечное. Уже проросло, состоялось и ни о чём тут не жалело прошлое, лишь неурочная паутинка несбывшегося плыла в поредевшем под август растительном его дыхании; в непрестанной своей смене сквозняка полевых нетревожных видений перемещали, обновляли свет и воздух там, над хлебом зреющим, земля молчала, отдав своё, — и всё покрывала собою безмятежная, линиялая от вековечной носки голубизна неведенья.

Неведенья ли?

Но чем дальше заходишь в поле, тем надёжней земля. И кто это, когда — уже всё чаще спрашивали себя — установил, заказал пределы ему, живому, а всё остальное мёртвым счёл, косным? Делить на живое и мёртвое взялись вроде бы для предварительного, условного знания, а возвели чуть не в абсолют; родительницу живого, роженицу — мёртвой назвали и сами же в это поверили, а поверив — испугались, каждый за себя сначала, и вместе — за всё живое потом... Но почему ж она так не боится тогда неживого тут, жизнь, разве что лишь в частностях личных своих, личностных, — в самом ли деле от неведенья, да и есть ли оно, неведенье, возможно ли? И не значит ли — спрашивали — большая, великая эта безбоязненность, что не какое-то здесь роковое незнание, лунатизм сущего и прозябанье над пропастью, в грозной невнятице стихий, а доверие, неразъединимое родство?

И бояться — надо ли бояться?

Цвело всё и зрело с безоглядным рвением, роняло листву, умирало, тлением упразднялось и опять возобновлялось под высокой рукою доверия этого; на земле зрело, всё хранящей в себе, сохраняющей до срока семена и кости, рубила первобытные, многотерпеливое битое стекло и головешки городов, через щель в подпол закатившуюся трогательную пуговку от распашонки детской, всё что угодно, — но лишь человека, воплощённого слова жизни, не храня; и не плоть, но лишь кощунственно-приблизительный смысл слова этого через и сквозь него, смертного, пересылая дальше, будущему... Так жаловался себе и миру человек, но его ничто не слышало или не понимало. Или сам он не слышал, самоувлечением больной, пеняя на то и кляня то, чего не понимал, — и некому было ему помочь. И лишь те, кажется, из людей, кто верил в видимую или истинную простоту мира, могли и умели иногда обрести в нём покой и уважение к своему существованию и не боялись почти. То есть боялись, но знали, что так — надо, всему надо, что речь не о них одних, но обо всём, а они есть только часть вечной, недодуманной всегда, незавершённой мысли этого всего...

И чем дальше идёшь, заходишь в поле, в его живую шелестящую дремоту, в сны о себе, когда благодатней и быстрее всего растут хлеба и дети, тем виднее, внятнее простота жизни — себя скрывающая, себе сопротивляющаяся простота, с собой согласная лишь здесь... Не уходи с поля. Не уходи, уже пылеватость некая проявилась, просквозила воздух и самое небо над пологим дальним взёмом полевым, где марево дрожит и струится, человеческое размытая, передёргивая взгляд и мысли, земную отекая твердь, — ибо сквозит, роится уже там хлебная пыль уборочная, будущая.

1985